

ПУТЬ

Из мытарств, из бед, из брэнной боли,
изо всех недугов и хвороб
ты выходишь, словно из подполья,
из-под пуль, нацелившихся в лоб.

Бедный бражник на тверёзых тризнах,
на остатках пира бытия,
кем ты узнан, или кем ты признан,
жалкий заместитель соловья?

У оглохших слух — точнее страха
быть несовместимее кислот,
зная, что последнюю рубаху
только свет всевышний отберет.

От ночных черешен в школьном сквере,
от рыданья праздных аонид
долг путь к неверию и к вере,
и по обе двери — кровенит.

Счастье призрачно, мгновенно,
ускользающе, опасно,
и когда огонь по венам,
и когда — светло и ясно.

А в финале жизни краткой —
то ли было, то ли сплыло...
То ли капал Бог украдкой
исчезавшие чернила.

От сетей ловца, от слов мятежных
комсомолок, нынешних старух,
от воспоминаний неизбежных
сохрани мой замысел и слух!

Я хочу не слышать эти бредни
и не помнить праздных толковищ,
чтоб в церковке бедной у обедни
стал мой дух беспомощен и нищ.

Чтобы в свет преобразилось горе
и глаза очистились от слёз,
чтобы на божественном просторе
облако за облаком неслоь.

Вот тогда увижу я, как пламя
выжигает паморок и тьму.
...А к Тому, кто сжалится над нами,
тихо побредем по-одному.

Эта странная жажда — до всех докричаться,
достучаться до черного зева ворот,
до акации чахлой, до тех домочадцев,
чьи глаза не увидят и ум не поймет,

кто ты есть в этом мире, жестоком и жалком,
как распят на ветрах бесконечной страны —
над всемирной помойкой, над звездною свалкой,
словно крест невозможной величины.

Эта странная тяга пространства — к пространству,
так, наверно, планеты, слетая с орбит,
устремляются в ночь, так болит постоянство,
так щека у любимого ночью горит

от ревнивого взгляда бессонниц, склоненных
над толпою больных, не случившихся встреч,
от зелёно-тоскливого лезвия клёнов,
не способных убить, но способных зажечь

тягу к дому — из дома бегущему рьяно,
пьяно пьющему морок распавшихся туч,
за которыми небо — свежо и багряно —
то ли кич, то ли тайны утраченной ключ.

Эта странная ночь — между звёздною речью
и безмолвием слов, утонувших в огне,
где купельная, злая тоска человечья
на звериную нежность сменилась во мне.

ПИСЬМО В ПАРИЖ

Возвращаясь в Эдем
после долгих блужданий
по России с её нужниками в грязи,
среди сказок её или иносказаний
удивительных — издали, страшных — вблизи,
одинокий, как перст, ты любовью — измучен,
может, это и есть родовое пятно? —
ни ногтями содрать,
ни забыться в падучей —
не залить даже водкой — проступит оно!
Так на вёсла садись и плыви по теченью —
вдоль засохших кустов по умершей реке.
Но и это уже не имеет значенья
для России в её inferнальной тоске.
Может, только Господь
и остался над нами,
чтоб в надменной Европе, в роскошном саду
мы безжалостно мучились русскими снами,
умирать бы хотели — лишь в русском аду.

В прозекторской и в фимиамной —
горит, не мигая, свет.

Там, в вечности амальгамной
останется твой портрет.

Ты плохо жила и скорбно,
не верила в силу зла,
в кругу чепухи, попкорна
ты сына не сберегла.

Любила до слез, до дрожи —
небесные зеркала,
и родину свою — тоже,
и тоже не сберегла.

Так что же — вскрывай, не гребуй,
не скроешь ни стыд, ни срам.
И оценить не требуй
свой нищенский фимиам.

* * *

Ты говоришь — совок.

А я твержу — лопата,
и мерзлая земля, и тачка, и кайло...

И матушка моя — ни в чем не виновата,
и твой отец-троцкист — не мировое зло.

Теперь мне жалко всех —

и сытых, и голодных,

и правых, и неправых, потому

что сдохли все в борениях бесплодных

и погрузились в паморок и тьму.

Двадцатый век — надежды не оставил.

А двадцать первый кружится в башке,

как мелкий бес, ведет бои без правил

и говорит на лживом языке.

«Распад» или «развал» —

из глубины филологий,

из памяти людской, беспамятства и тьмы

проступит не стигмат, а только смысл убогий

тщеславий и торжеств,

что заказали мы.

...Как внучка кулака и ты как сын троцкиста

присядем на крыльце тихонечко, рядом,

помирим, наконец, — огонь идеалиста

и русский задний ум (с хохляцким говорком).

Нам родина дана

одна — страдать и плакать.

Как Тютчев завещал.

Как Фет приговорил.

Она внутри — орех,

она снаружи — мякоть.

И горе у нее: «Там человек сторел».

ЖИТЕЙСКОЕ МОРЕ

Памяти Феди

Как хорошо, что ты был на земле —
ел землянику, купался в Урале...
Вместе черемухой губы марали
мама и мальчик!
И вот на столе —
в тёмной прозекторской...
Боже, о, Боже,
Матери Божьей смирение дай, —
стоя у гроба с бесслёзною дрожью,
жизни слепой собирать урожай.

Вот и рожай, плодоносная дева,
в тесто, в опару упрячь и чужайся
всякого-якого «права» и «лева»,
мальчиком только своим дорожай.
Что там стишки, гонорарчики, цацки,
что там газетная правда и ложь,
коль материнством — не бармы ли царские! —
Бог наградил за здорово живешь.

Вот и прошу я у Бога прощенья.
Вот и молю Чудотворца опять
сон о младенчестве видеть — отмщенье,
пяточки сыну во сне целовать...

Ты говоришь: не плачь, еще не время,
еще не время, — говоришь, — не плачь...
Но желтый лист тебя целует в темя,
целует, как Иуда, как палач.

Раскрыла осень подлые объятья,
и мы одни — среди летящих стрел.
...Я крашу рот и поправляю платье,
чтоб на меня и ты без слёз смотрел.

ЖЁЛТЫЙ ДОМ

Я все пытаюсь вспомнить жёлтый дом,
облупленные серые колонны,
а в нём — переносимые с трудом
дух белой хлорки и одеколona.

Там ты, как мальчик, стриженный под ноль,
убогий свет и все вокруг убого.
Но за окном — не снег, а канифоль
для скрипок нас прощающего Бога...

ПОСЛЕДНЕЕ МОРЕ

Ни слова о том, что будет потом,
ни слова об этом, мой друг, —
в последнем огне, в огне золотом
последнее море вокруг.

Мы завтра покинем сии берега —
о, дольше, огонь, погори,
о том, что ни друга вокруг, ни врага,
ты нам говори, говори...

И слепо, и глухо, и просто немой —
ответчик и он же истец.

Но завтра и мы соберемся домой,
отсрочь это завтра, Отец!

О, дай наглядеться, наплакаться, на-
смеяться в пейзаже грудном...

Есть сто пунктуаций во все времена,
а паузы нет ни в одном.

Но именно в паузах жизнь и горчит,
но именно в паузах встреч,
как море, последнее море, звучит
нечленораздельная речь.

В синий отблеск фиолета
жёлтое — сквозимо.

Ожидаю бабье лето
и мужскую зиму.

Ожидаю, что откатят
прошлые разоры.

Что опять затянут в кратер
огненные взоры.

И поселится большая
в сердце голубица.

И за это обещаю —
плакать и молиться.

Оглушило и ошарашило:
не обозначилось ли? —
счастье покроя страшного,
с неба и до земли.

Как же нам это вынести,
в памяти теребя
прошлое, чтоб не вырасти
больше самих себя?

Ведь не на вырост дадено
и не на окорот.
Счастье, а не украдено,
даже наоборот!

Горя нам было мало ли —
жалиться да тужить?
Нас оно не ломало ли,
и не мешало жить?

А вот теперь — на паперти
у счастья на поводу,
словно на белой скатерти
или на тонком льду.

Ты готов ли, ласковый и нежный,
встать со мной
на неотвратимой, неизбежной
паперти земной?

Ты готов ли целовать каменья,
брошенные вслед?
От любви, похожей на смиренье,
ждать ответ?

Ты готов ли? Я ли не готова
умирать:
вот стоите рядом — ты и слово! —
надо выбирать...

Что с нами, милый?! Мне все чаще
идет на ум:
так виноград последний слаще —
почти изюм.

Так на прошедшие мытарства,
каменьев град,
отдав полжизни и полцарства,
уже глядят.

Так не зовут уже, не ищут
земных утех,
а молча ждут на пепелище,
чтоб выпал снег.

Все так... Но если ночью каждой —
о, исполать! —
то умирать дано от жажды,
то вновь пылать?

И если это не расплата
и вход в пике,
а просто нежностью прижата
щека к щеке?!

...Знать, на осеннем одиноком
уже пути
Господь обвел нас дольным оком
и — дал пройти.

ЗА'ЕДНО*

На Балканах бездонная ночь,
осторожна, чиста, нелюдима.
И уже никому не помочь,
кто не за'едно, не заедино.

В эти ночи рождается страх
одиночества — черная льдина.
Плачет птица и дождик в горах,
что не за'едно, не заедино.

...Мы такие прошли колеи,
и такие проехали страсти,
что дрожащие губы твои
лишь касаются молча запястья...

* За'едно (болг.) — вместе.